

Фаина РАНЕВСКАЯ

ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВЕЛИКОЙ АКТРИСЫ

ЗАПРЕТНЫЕ
МЕМУАРЫ



«МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ
ЛЮБОВЬ»

Фаина Георгиевна Раневская
«Моя единственная любовь».
Главная тайна великой актрисы
Серия «Запретные мемуары»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20030731

«Моя единственная любовь». Главная тайна великой актрисы: Яуза-пресс; Москва; 2016

ISBN 978-5-9955-0869-4

Аннотация

<p id="_GoBack">Прежде считалось, что Фаина Раневская была не просто «старой девой», а чуть ли не мужененавистницей, никогда не влюблялась и не выходила замуж. Ей даже приписывали авторство общеизвестной остроты: «Хорошее дело браком не назовут». Но, оказывается, в судьбе Раневской была единственная, зато великая любовь – любовь-наваждение, любовь – «солнечный удар», любовь на всю жизнь. Кому отдала свое сердце гениальная актриса? Кого она не могла забыть до конца своих дней? Кому была верна «и в радости, и в печали»? И почему хранила эту тайну почти полвека? А когда все же решилась рассказать – сквозь привычную иронию и «фирменные» остроты и афоризмы Раневской прорвалась такая неподдельная боль, такая скорбь, такой «плач Ярославны», что комок в

горле... Много лет эта исповедь считалась пропавшей, утерянной, сожженной самой Раневской. Но рукописи не горят!

Содержание

Вступление	6
Сначала о Крыме двадцатого года. И о Маше Гагариной, без нее куда же? И обо мне, без меня тоже трудно обойтись во всей этой истории	16
Конец ознакомительного фрагмента.	33

**Фаина Раневская
«Моя единственная
любовь». Главная
тайна великой актрисы**

© ООО «Яуза-пресс», 2016

Вступление

Свеча трещала и грозила погаснуть от сквозняка также, как тогда в ледяном Симферополе... И храм такой же – Всех Святых, только не на кладбище, а на Ленинградке в Москве.

Робкое, дрожащее пламя как защита, словно если оно погаснет, мир погибнет.

Каддиш я том читать должен сын, это он поминает отца в годовщину смерти. Если сына нет, можно дочери. А если никого нет? Тогда сгожусь и я. Главное, чтобы не забывали.

Все же поминальной молитве иудеев не место в православном храме.

Но почему-то было понятно, что не выставят и даже не осудят.

Когда сжимала правой рукой свечу, а в кулачке левой крестик, явственно почувствовала пальцы Андрея на своих. Это похоже на сумасшествие, но он держал мою руку сейчас, дотянувшись из того страшного двадцатого года! Слезы сами собой потекли по щекам.

Закрыла глаза и шепотом произносила фразы, кивая при каждом «амен»:

– Йитгадаь вэйткадаш шмэй раба: бэальма ди вра хирь-утэй вэямлих мальхутэй вэяцмах пурканэй викарэв мэших-эй: бэхайейхон увэйомэйхон увэхайей дэхоль...

Что думали при этом прихожане – что я ненормальная? Что в церкви впервые в жизни, несмотря на возраст? Что бормочу проклятья кому-то на незнакомом языке? Я бы на их месте испугалась.

Батюшка подошел, как только открыла глаза после пятого амена. У него взгляд добрый, понимающий, видно решил, что я закоренелая атеистка от рождения, как вести себя в церкви не знаю, и поспешил на помощь:

– Дочь моя, возьмите свечу в левую руку, тогда правой можно совершать крестное знамение...

Что он подумал, когда я в ответ покачала головой: «Я иудейка»?

Но на моей раскрытой ладони тот самый крестик из симферопольского храма Всех Святых.

– А вот он был православным. Потому поминаю здесь.

Священник понял, не разумом – душой, кивнул:

– Поминальную закажите. Напишите просто имя, мы прочитаем, что нужно. Это хорошо, когда среди живых есть кому вспомнить.

Что-то вдруг изменилось в самой атмосфере церкви, напряжение сразу спало. Женщины ведь не слышали, что я сказала, не видели крестика на моей ладони, но поверили спокойствию своего священника.

Решили, что поминаю кого-то, погибшего на этой войне. Кому из них могло прийти в голову, что «идейно выдержанная», как написано обо мне в характеристике, гражданка по-

минает в православной церкви белого офицера? Его Высокоблагородие, Его светлость и прочее, прочее, прочее...

А я теперь знаю, что каждый год в этот день буду ходить в твой храм и читать свою молитву. Бог не осудит, главное, чтобы была память.

Свеча дрожит в моей руке и воском плачет.

Я не пыталась жизнь прожить никак иначе.

Не соблазнилась я судьбой обычной женщины.

Ведь мы с тобою той свечой навек повенчаны.

Уже неделю не дает покоя понимание, что день был особенный.

Конечно, особенный. С утра получила предложение руки и сердца от Федора Ивановича, потом в трамвае услышала слова о храме Всех Святых, нашла его и прочитала там каддиш ятом, поразив всех прихожанок.

Въевшаяся в кровь и плоть привычка разбирать любой поступок или ощущение собственной жизни словно чужие, чтобы извлечь пользу при подготовке возможной роли. Эта привычка – все подмечать, запоминать, анализировать и раскладывать по полочкам – страшно мешает жить. Препарировать саму себя, словно академик лягушку – мазохизм. Я мазохистка? А то нет?

Что необычного в этом дне?

52-летняя некрасивая еврейка без жилплощади (комната

с окном в стену не в счет, в ней, кроме меня и тараканов, никто жить не пожелал), не умеющая ни зарабатывать, ни копить деньги, у которой руки не оттуда растут во всем, известная ролями в кино, которые терпеть не может, получила предложение стать супругой маршала.

Если послушать мужчин, то вокруг одни герои и совершенства, на деле же все больше мелкие прыщики. Федор Иванович Толбухин не такой, он настоящий. Этим словом определяется все, настоящие мужчины – вымирающий класс, встречаются редко, а среди холостых особенно. Зачем ему я со своим окном в стену – загадка, но это его дело.

«Расправилась» до нелепости просто – как кокетливая курсистка, попросила время на раздумье и как полная дура определила срок до своего дня рождения, то есть девять месяцев, словно ребенка вынашивать собралась.

Вторая загадка маршала Толбухина – он согласился подождать.

Почти довольная собой, ехала двадцать третьим трамваем (с чего вдруг?), услышала, как одна пассажирка другой рассказывает, мол, живет теперь рядом с «Соколом» у Всехсвятского храма. Услышать о храме Всех Святых в Такой день!

Немедленно пересела в обратную сторону и отправилась до «Сокола».

Храм вот он – на ладошке позади метро, словно нарочно,

чтобы не пришлось искать и не нашлось повода трусливо повернуть обратно. И ведь открыт заново совсем недавно.

Что это – судьба?

Не то, не то, все не то! До отчаянья не то.

И не отпускает.

Не дает покоя мысль, что не зря вот так все сразу – Федор Иванович Толбухин, церковь Всех Святых и Павла Леонтьевна с Ирой живут отдельно. Я одна, никто не заглянет через плечо, никто не спросит, почему глаза красные или свет горел до самого утра.

Федор Иванович о Крыме говорит охотно, но о нынешнем. Толбухин освобождал его от фашистов, а в Гражданскую воевал против поляков и в Кронштадте.

О Крыме двадцатого года никто говорить не хочет.

Никто, даже те, кто могут.

И я не хочу.

Дневник тех месяцев порвала в клочки, сожгла, старательно переворошив пепел. Заставляла себя не думать, не вспоминать, это страшно, это опасно, это очень больно.

И вдруг все сразу – свеча в храме, пальцы Андрея на моих и ледяной Крым двадцатого года за московским окном, которое в стену.

Как озарение: вот оно! Я не забыла ни одного дня, ни одной минуты, связанной с тобой. Но не забыть и не вспоминать не одно и то же. Я не имела права не вспоминать. Не

порвать тогда дневник не могла – опасно для всех, Андрей, ты поймешь. Но сейчас... Эта свеча в руке и крестик на ладони. Я должна все вспомнить, все. Иначе не отпустит. Иначе получится предательство.

Я не предавала тебя. Никогда.

Чем больше думаю, тем ясней понимаю, что нужно все вернуть – записать то, что еще помню. Не ради публикации (упаси боже!), ради себя, своей памяти.

Когда-то Ниночка Сухоцкая просила записать, чтобы не забылся тот кошмар. Но было еще слишком свежо и больно, да и опасно. За себя не боялась, но потащить за собой близких не хотела.

Хожу кругами и не могу приступить, не могу решиться. Сохранись та тетрадь, просто добавила бы свои замечания с высоты прожитых лет, а так хоть все заново начинай. А может, и лучше – заново. Какая разница, какого цвета было у меня платье или что сказал Павел Анатольевич в ответ на чьи-то слова? Куда важней, что думали и чувствовали в те страшные три месяца осени двадцатого года в Крыму. А это я помню, словно было вчера, а не двадцать восемь лет назад.

Пока еще нельзя говорить многого, но пройдет время, наступит пора, когда правда тех, кто пережил этот раскол, понадобится. Для меня главное – память об Андрее, но ведь есть еще память о том, через что мы прошли проклятой осенью двадцатого года в Крыму.

Забудут Раневскую, но должны помнить Раскол, погубивший стольких.

В русских Расколах никогда нет ни правых, ни виноватых. Правых вообще быть не может, а вот виноваты все. Что допустили это противостояние, что не слышали друг друга, звали на помощь чужих (как это знакомо для Руси во все века! я плохо знаю историю, но тут и знать нечего).

Никогда не интересовалась политикой, терпеть ее не могу, но как вспомню, сколько и каких людей погубили в кровавой междоусобице, страшно за Россию становится. Неужели ей вовек так суждено – чтобы русский на русского, брат на брата до самого конца, до гибели обоюдной?

Сейчас об этом говорить нельзя, но ведь будет время, когда станет можно.

А вдруг мы что-то забудем или, хуже того, вовсе не доживем, некому будет предупредить?

Что-то пафосно получается.

Третью неделю уговариваю себя писать. Третью неделю успешно нахожу разные отговорки – то сначала настроиться нужно, то времени нет, то сумбурно все, мол, чуть-чуть разберусь с мыслями и начну.

Пожалуй, так и собиралась бы, не услышь, как один прозаик советует другому: если не знаешь, что писать или как начать, садись за стол, бери перо, обмакивай в чернила и начинай. Что? Да все что угодно! Дальше мол, само пойдет.

Решила попробовать. А вдруг пойдет?

А еще тоненькая тетрадка стихов. Я не могла ее вытащить на свет, чтобы даже прочитать, опасаясь, что заметят и сунут нос. Не Павла Леонтьевна, она слишком деликатна, чтобы читать чужое без спроса, но Ирина. Я и дневник тогда сожгла, чтобы Ира нос не совала.

Ирина меня никогда не любила, ревновала, считая, что я украла у нее любовь матери, а в подростковом возрасте и вовсе ненавидела. Это понятно, это простительно, в двенадцать-тринадцать лет всем кажется, что мир против них, а уж чужая недотепа, с которой мать носится, как курица со снесенным яйцом, вообще враг.

Я в таком возрасте почти ненавидела всех за любовь к моей старшей сестре-красавице и саму сестру за всеобщую любовь к ней.

Дневник уничтожила, а на стихи рука не поднялась, так и лежала эта тоненькая тетрадоочка далеко в тайниках с документами. Это были бумаги, связанные с семьей Фельдман (в том числе телеграммы от мамы о том, что перевела деньги – я хранила, поскольку мечтала когда-нибудь вернуть все, хотя это «когда-нибудь» упорно откладывалось). К счастью, Ирину подобные вещи не интересовали совсем, за тетрадоочку можно не опасаться.

А потом я сама не доставала – было слишком тяжело и больно.

После похода в храм открыла ее и поразились – вот она,

летопись моей трагической любви. Наивно, неумело, временами напыщенно, но такова была я тогда, таков был мир вокруг.

Ирине отдать? Нет, ни за что. Может, когда-нибудь Лешке пригодится? Но это только после моей смерти, чтобы прижизненным позором не мучиться. Он меня бабкой считает и Фуфой зовёт. Вот это был бы шок – бабка Фуфа и любовь!

А я все запишу и Ниночке отдам! Она молодая, моложе меня на десять лет, меня переживёт и сохранит для кого-нибудь. А не сохранит, так пусть все пропадает.

Нет, чтобы пропало, нельзя, я многое помню, должна другим рассказать.

И стихи она тоже поймет, сама в молодости баловалась (кто стихов в юности не писал? только сухарь плесневый). А ещё она умница, она сама выберет, что можно другим показывать, а чего нельзя.

Ниночка, это я о тебе, дорогая. Ты у нас умница.

Вот тебе, умница, и мучение – читай, только не ругай меня, я не писательница.

Ниночка даже обрадовалась моему намерению написать о жизни в Крыму.

Теперь у меня есть все – желание, память и адресат. Нелепо было бы рассказывать себе о себе.

Кое-что я рассказывала ещё до войны, но никогда об осени двадцатого года. Это настораживало. Теперь открываю

секрет.

Ниночка, выбери из всего, что я тебе выложу, что действительно стоило бы оставить. Даю торжественное и клятвенное свое согласие на обработку, переработку и уничтожение всего, что сочтешь лишним, глупым или фальшивым. Я о себе молодой, потому фальши и напыщенности может оказаться много. Твое право кромсать (или не читать вовсе).

Сначала о Крыме двадцатого года. И о Маше Гагариной, без нее куда же? И обо мне, без меня тоже трудно обойтись во всей этой истории

Я Крым не выбирала, я хотела в Москву.

Всегда.

Там Качалов, там Станиславский. А в Крыму даже Чехова уже не было – умер.

Интересно, что со мной стало, останься я дома?

Благовоспитанной барышни из меня не получилось, слишком строптива. Хорошей хозяйки дома тоже не вышло бы – слишком бестолкова и руки из одного места растут, как говорят сейчас, и голова чем угодно забита, только не домашним хозяйством. А ведь Андрей понимал это. Как же он решился? Или просто так сложилось?

А еще упрямство. Представляю, как ярился отец, понимая, что не вышло по его воле. Отец вычеркнул «упрямую ослицу» из своей жизни, оставив нищей. Гирша Фельдман считал свою дочь Фаину «шлимазл» – конченой неудачницей, а шлимазлов в семье Фельдманов быть не должно. Но я даже рада, благодаря этому прожила свою жизнь, пусть тя-

желую и неустроенную, но по своей воле, а не по его.

Сейчас пришло в голову, что не будь разрыва с родными и неудач в Москве, я не оказалась бы сначала в Крыму у мадам Лавровской, потом не познакомилась в Ростове с Павлой Леонтьевной, а потом не приехала бы в Симферополь, а значит, не встретила Андрея! Получается, что судьба упрямо вела меня к нему в ту самую церквушку Всех Святых.

Говорят же, кто судьбе покорен, того она ведет, кто противится – тащит.

Меня тащила, хотя не понимаю, в чем именно я ей противилась.

Мы с Павлой Леонтьевной оказались у Рудина в театре, когда в Симферополе власть менялась чаще направления ветра: белые – красные – немцы – белые – красные... Новая власть расправлялась с прежней, казнила, вешала, расстреливала, все реквизировала (попросту грабила) и обещала, что уж теперь у всех нас, несознательных, начнется прямо-таки райская жизнь. Райская жизнь как-то не поспевала за сменой власти, а потому продолжалась прежняя – голодная и страшная.

В Крыму тогда скопилась такая масса народа, какой полуостров не видел в самый разгар курортного сезона. Такой разномастной публики не бывает даже в Москве – от князей до бездомных бродяг, от профессоров до карманников и прочее. Хотя из-за столпотворения растерянных, не знаю-

щих, куда им приткнуться, что с ними будет дальше людей и князь вполне мог оказаться бездомным.

Не меньше в Крыму собралось и артистической братии. Гастролировал Шаляпин, в Севастополе пел Собинов... Актеров и даже целых трупп немало. Писатели, поэты, музыканты... Все растерялись в той бурлящей России, им казалось, что в Крыму спокойней, но последний оплот был больше похож на сумасшедший дом, чем на надежное пристанище, а деваться больше некуда. Дальше только море и на корм акулам (в Черном море тогда были акулы не из числа отдыхающих, а просто так?).

Казалось бы, можно радоваться, ведь у крымчан появилась незапланированная возможность послушать лучшие голоса, посмотреть лучшие спектакли. Но это не так, у крымчан не было денег, они собрались не отдыхать, а переждать бурю, бушующую в остальной части страны. Конечно, все верили, что скоро, вот-вот – и прежняя жизнь вернется, а пока продавали свои драгоценности, чтобы как-то продержаться. Большинству не до театров.

Симферополь не был столицей, когда Русская Армия Врангеля перебралась в Крым, барон устроился в Севастополе. Приезжавшие оттуда знакомые делали круглые глаза и рассказывали ужасы. Севастополь превратился в настоящий Вавилон, а верней, Содом и Гоморру вместе взятые. Снять жилье невозможно ни за какую цену, спящие на скамейках в скверах, а то и на земле люди стали привычным явлени-

ем. Дороговизна страшная, присутствие огромного количества военных, не желавших на передовую, но желавших жить «красиво», не делало город безопасней.

Аверченко открыл в Севастополе театр. Театры были во всех городах. Мы даже обсуждали идею перебраться куда-то из Симферополя, например, снова в Евпаторию или к Аверченко. Но у него оказался театр-кабаре, там выступал со слезами на глазах Собинов. Драматические актрисы классического репертуара едва ли нужны в кабаре.

Живо представила свою тощую (в то время я от недоедания была тощей!) нескладную фигуру в варьете рядом с Собиновым и поняла, что публика передохла бы от смеха прежде, чем великий тенор успел открыть рот.

От колик из-за хохота севастопольскую публику спасло только мое нежелание выступать в варьете. Я уже попробовала свои силы на серьезной сцене, пусть и в ролях второго плана (эпизодические роли, которые есть на каждой афише – «и др.» – моя стезя), а потому ничего иного, кроме классики, для себя не представляла. Только Чехов, Островский, Гоголь!

Павла Леонтьевна тоже не желала в варьете (кто бы нас туда принял?), мы свысока посетовали на неразборчивость некоторых актеров и актрис и остались в Симферополе в Дворянском театре, как он тогда назывался. Тем более там правил бал Павел Анатольевич Рудин – для нас режиссер идеальный, помешанный на классике идеалист, добрейшей

души фантазер. Думаю, его покладистость позволила Павле Леонтьевне пристроить в театр меня, заверив в моей несомненной талантливости (я этот аванс в характеристике до сих пор отрабатываю в поте лица).

В общем, жили мы в Симферополе скудно, голодно, но с достоинством. Но главное – играли!

Ниночка, не тебе объяснять, что это такое – возможность играть классический репертуар, а не новомодные изобретения декадентов. Наверное, в театре ничего лучше русской классики не придумано, даже Шекспир слишком простоват, недаром его так ругал Лев Николаевич Толстой.

Но тут Толстой ни при чем, хотя в нашем доме о нем тоже говорили. Я рассказывала, что граф для путешествия по Черному морю воспользовался пароходом моего отца? Тогда пароход принадлежал другому, но сама память осталась. Меня умиляет вот это: «К этому камню прикасался такой-то». С одной стороны, понятно, что хочется сохранить память на века, с другой, после такого-то к камню прикасалось столько рук, что верхний слой стерся.

Можно бы добавить: «В этом море купался великий Толстой, потрогайте волну, не исключено, что именно она касалась ног Льва Николаевича двадцать лет назад такого-то числа в такое-то время пополудни». Павла Леонтьевна, услышав эти речи, долго смеялась, но потом сказала, что я язвительная штучка. Что есть, то есть.

Что-то я не о том...

Все самое значительное происходит в нашей жизни словно случайно.

Маша или я могли сесть на другое место в трамвае и не познакомились бы даже после того, как он вдруг встал, словно вкопанный, и все посыпались друг на дружку. Это ведь случайность – что я повалилась именно на Машу, расквасила себе нос о ее колено, и ей пришлось останавливать мне кровь.

Не перебеги чертова собака тогда перед трамваем, я никогда не побывала бы в квартире на Екатерининской, где стоял Машин рояль, уютно гудел самовар (у нее имелись чай и дрова) и было много книг.

В нашем доме в Таганроге на полках стояли в основном томики Чехова и толстые книги на арамейском (отец считал, что говорить можно на идиш, а читать только на арамейском, но такую литературу, кроме моленной, не найти).

Мама любила Чехова. Когда он умер, рыдала страшно, словно потеряла самое дорогое. Отец даже обиделся:

– Я умру, так плакать не станешь.

С Павлой Леонтьевной мы книг позволить себе не могли до самой Москвы. Как их будешь таскать с собой, если ехали каждый раз в неизвестность, денег никогда не имели и как долго проживем на новом месте, не знали? Я мечтала о домашней библиотеке – большой-большой, чтобы там было все на нескольких языках (даже на арамейском). До сих пор

не получилось.

А у Маши было. Она несколько лет прожила на одном месте, не переезжая, сначала с мужем, потом одна. И книжные шкафы на Екатерининской зачаровывали меня всякий раз, как появлялась там. Даже сейчас, через много лет помню порядок стоявших томов – на этой полке Монтень, там Бальзак, а там Тютчев (Машина любовь)...

Сейчас вдруг осознала, что стала забывать многое, даже Машино лицо расплывается в памяти. Нужно немедленно записать о ней все, что вспомню. Зачем – не знаю, но чувствую, что это очень важно.

Память – штука странная. Кажется, отложилось навсегда, но вдруг выясняешь, что она сама решает, что оставить, а что забыть.

Зря я тогда порвала и сожгла тетрадь, надо было хоть переписать, заменив имена. Или все правильно – что упало, то пропало, не помнится, значит, не нужно?

Но то, что не нужно в одно время, вдруг оказывается очень важным в другое.

Я пытаюсь юлить сама с собой, главное ведь, что в ее доме я познакомилась с Андреем.

Об Андрее я тебе не рассказывала, никому не рассказывала, а вот теперь расскажу. Только тебе, а ты уж сама решать – знать ли другим. Только умоляю, Ниночка, после того, как меня не станет. Я долго не проживу, потому распорядишь-

ся моим вот этим наследством, как сочтешь нужным, тебе я верю.

Ну, вот, завещание написала, теперь можно и о моей любви. Написала слово «несчастной» и жирно вымарала, видишь?

Андрей был прав, когда сказал, что несчастной любви не бывает, несчастным может быть только человек, не понявший счастье своей любви.

В большой шестикомнатной квартире моя новая знакомая жила практически одна – муж погиб, брат Матвей бывал только набегами, как и их друг Андрей, они офицеры. У обоих по своей комнате. В небольшой комнатке подле кухни жила прислуга – ловкая, хитрая Глаша. Маша сожалела, что ванная всего одна, это очень неудобно, когда мужчины дома.

Иметь столовую отдельно от гостиной и держать прислугу в такое время – это немислимо. О ванной вообще говорить не стоило, ведь Симферополь всегда страдал от нехватки воды. Большинство пользовались водой из фонтанов, а то и во все ходили на Салгир. Речка мелкая, из нее не только пить – воду для мытья полов брать было опасно. Недаром как раз в то лето разразилась эпидемия холеры, впрочем, в Крыму не первая.

А у Маши ванная. И неудобно, что всего одна и умываться иногда приходится по очереди.

Что-то я слишком подробно о Маше и ее доме.

Но как же иначе?

Во-первых, там я встретила с совсем другой жизнью. Таковую мы изображали на сцене, в действительности не представляя совсем. Это другая жизнь, отличная от моей совершенно.

Во-вторых, я увидела другие взаимоотношения между людьми, услышала совсем иные речи, познакомилась с другими интересами. Дело не в том, что это представители высшего общества. Мы с Павлой Леонтьевной и мои знакомыми были аполитичны и тем гордились. Маша с ее друзьями напротив, гордилась своим патриотизмом и в политике даже участвовала. Она не расклеивала прокламации, не раздавала листовки, не распевала «вышли мы все из народа...», совсем наоборот. Маша была монархисткой, из-за чего над ней часто посмеивался либеральный Андрей.

Но самое главное – у нее я познакомилась с Андреем. Без дома на Екатерининской не было бы моей такой горячей и такой трагичной любви, настоящей, какая бывает раз в жизни и далеко не у всех.

Евреи говорят, что если любовь закончилась, значит, она и не начиналась.

У меня не закончилась даже спустя двадцать восемь лет.

Ее жизнь разительно отличалась от нашей неустроенной и полунищей. Маша Гагарина прекрасно играла на рояле, давая уроки музыки и французского, окончила медицинские

курсы и мечтала поступить в университет. Но университет был отложен ввиду замужества. Смогла бы я вот так – оставить сцену ради Андрея, как она поступила с медициной, чтобы быть рядом со своим Павлом?

Впрочем, медицину Гагарина не бросила, она работала в госпитале сестрой милосердия, не получая за это ни гроша. Кормиться уроками музыки и французского с каждым днем становилось все трудней – одни ученицы уезжали из Симферополя, родители других не имели средств для такой роскоши.

Об этом не говорят и не пишут, но при Врангеле (я вовсе не хвалю его, но были и положительные моменты) в Крыму рабочие получали куда больше чиновников и даже военных. О простых служащих говорить нечего.

Наш знакомый печатник хвастал, что получает раза в три-четыре больше офицера. Мы не поверили, но позже я заинтересовалась у Матвея, так ли это. Он ответил, что так – зарплата опытного рабочего в несколько раз больше офицерской.

Почему они тогда офицерство ненавидели? Загадка.

На что жила Маша?

И это раскрылось легко – вовсе не уроками, а на доходы от денег, вложенных в иностранные банки.

Не так уж беспомощно было наше дворянство. Осторожные состоятельные люди загодя перевели свои средства за

границу и теперь получали проценты.

Банк, в котором лежали сбережения Машиного мужа (он погиб задолго до нашей с ней встречи), имел представительство в Севастополе, откуда то ее брат Матвей, то Андрей привозили снятые со счета франки и купленное на них золото. Я как-нибудь порассуждаю на эту тему.

У меня началось настоящее раздвоение личности.

Очень тянуло в отличную от нашей жизнь на Екатерининской, но я стыдилась признаться Павле Леонтьевне в новом знакомстве, словно совершала что-то непотребное. «Спасало» только то, что Ира все время болела, у нее слабое здоровье тогда было. Вообще, мы болели по очереди – то я, то Ира, а нашей маме Павле Леонтьевне и Тате приходилось выхаживать. У Ирки сказывался подростковый возраст, когда болячки цепляются особенно легко, потому что организм перестраивается и растет. Она росла, а кушать было нечего, вот и болела.

Но Ирина болезнь в те два месяца позволила мне почаще сбегать к Маше.

Вот какая я эгоистка, а ты всегда считала меня доброй и отзывчивой.

После полукочевой актерской жизни, когда не знаешь, что завтра, когда главное – репертуар предстоящей недели, а единственная неопределенность – будет ли следующий сезон и какие будут премьеры, я попала в совсем иную жизнь.

Причем не просто другую, а ту самую, которая у Чехова у пьесах.

Есть такая порода людей – аристократы. Передается по наследству, по крови. У них могут быть огромные имения или не быть ничего, они могут купаться в деньгах или считать каждый рубль, иметь десятки, а то и сотни слуг или разводить огонь в печи сами, но они особенные. Таких не пугают никакие трудности, никакие лишения, ни голод, ни холод, ни опасности. Ни единой жалобы ни на какие житейские трудности. Превыше всего – честь, главный стержень внутри – самодисциплина.

До Маши, Матвея и Андрея я таких видела только со стороны. Состоятельные семьи Гирша Фельдмана и его знакомых несравнимы.

Маше Гагариной было тридцать, но поверить в это, глядя на тоненькую, как у девчонки, стройную фигурку и чистое, без малейших признаков возраста лицо, невозможно.

Она вдова, муж погиб, как я сразу поняла, на фронте в первый год войны.

Об остальном, что касалось ее жизни в Москве и здесь в Симферополе с мужем, она говорить категорически не желала, я не настаивала. Зато с каким удовольствием Маша вспоминала жизнь в подмосковном имении в детстве и юности! Я часто слышала несколько имен: Матвей (брат Маши), Павел (ее муж), Андрей, Владимир, Дмитрий, Никита, Володь-

ка-маленький, Николаша, еще одно мужское имя я забыла. И женские: Полина, Лиза, Анна, Даша...

Большая веселая компания сверстников-соседей, устраивавшая шумные праздники, катания верхом и в колясках, чаепития, ставившая домашние спектакли... Такая дружба, еще не обремененная семейными заботами и служебными обязанностями, когда все впереди и все прекрасно, бывает только в юности. Как я жалела, что у меня никогда не бывало таких друзей! Как я завидовала той Машинной счастливой жизни.

Из рассказов стало ясно, что имущественное положение разное, у одних огромное поместье, у других пара деревенок, но это не мешало отпрыскам родовитых семей дружить между собой. Эта дружба сохранилась на долгие годы, а Маша с Павлом и Андрей с Полиной даже создали семьи. Позже я поняла, что Маша сказала «да» Павлу после свадьбы Андрея и Полины.

Конечно, она жалела о детстве и юности, когда все так светло и весело, вся жизнь впереди и самые страшные проблемы тебя не касаются. Хотя самим детям их проблемы кажутся наиважнейшими. Что там с неурядицами всего внешнего мира, если злые мальчишки порвали у твоей любимой куклы платье?

Но у меня и в юности не было таких друзей, в Таганроге мы не ездили большой компанией на речку ловить голавлей, не читали стихи под звездами, не пели романсов под гитару

или рояль... А если и ставили спектакли, то не стихийно на даче, а организованно в студии.

В общем, я завидовала Машиной юности.

Из ее рассказов следовало, что самой состоятельной была семья Андрея. Имение князей Горчаковых огромно, оно больше всех соседских вместе взятых. Кроме подмосковных просторов, были еще имения в Малороссии, под Петербургом, особняк в Петербурге, большой дом в Москве и квартира в Вене. Его мать с сестрой, также потерявшей мужа, жили теперь там. Горчаковы не любили съемное жилье, потому, оставаясь в каком-то городе больше чем на полгода, просто покупали там квартиру или дом. Где еще были разбросаны княжеские владения, Гагарина не знала.

Об Андрее она всегда говорила как о друге. Иногда мне казалось, что влюбленность все же присутствовала, но Маша упоминала Полину – жену Андрея, и все становилось на свои места. Позже я поняла, что у них за дружба, и поразило это понимание не меньше всего остального.

Знакомство с Андреем состоялось в мой день рождения. Он до сих пор стоит перед глазами.

Новая подруга прислала записочку с приглашением на ужин, если только я не устраиваю банкет.

Какой мог быть банкет или даже посиделки, если месячного заработка не хватало на неделю жизни, Павла Леон-

тьевна и Ирочка температурили, а Тата суетилась вокруг них и требовала, чтобы я вышла вон, поскольку еще одной «заразительной» она не вынесет, с нее хватит двоих. У Павлы Леонтьевны и Ирочки простуда, инфлюэнция, как говорила Тата, ничего «заразительного» в ней не было, но я поспешно выполнила просьбу, объявив, что проведу вторую половину дня у приятельницы, чтобы репетировать какой-нибудь романс. Тата романсы считала пустой прихотью, а потому только махнула рукой.

Платья было всего два, одно повседневное бязевое, которое страшно мялось и превращало меня не то в отставную институтку, не то в мелкую лавочницу, второе – выходное шелковое. Купила его случайно, вернее, выменяла на колечко (намеревалась обменять на хлеб, но потом увидела это шелковое чудо и соблазнилась).

Сидело, словно на меня шито, шло очень, я сама себе в нем нравилась, хотя и понимала, что все очень простенько.

Туфли еще тоже были ничего, подошва не отходила и подметки не сильно стоптаны.

В таком виде я чувствовала себя королевой, а отсутствие свиты объясняла себе просто: надоели!

Королева явилась к новой подруге, гордясь собой, готовая распустить павлиний хвост – Рудин все-таки отдал мне Машу в «Трех сестрах» в новом сезоне, мы много репетировали, и вот-вот премьера!

Я уже играла одну Машу (у Чехова Маш много) – в «Чай-

ке» – и почувствовала себя чеховской героиней. Конечно, это не Нина Заречная, но все же роль со смыслом. Роль, в которой все сконцентрировано на актерской игре, где трагизма ничуть не меньше, чем в главных ролях. Все говорили, что трагическая Маша Шамраева мне удалась, чем я очень гордилась.

Мечта сыграть Раневскую пока оставалась мечтой, но все-таки свое время.

Одновременно мне предложена роль Натальи в тех же «Трех сестрах». Вот уж чего я не желала! Играть наглуую захватчицу, безвкусную и бесцеремонную – увольте! Но Павла Леонтьевна в очередной раз подбросила тему для размышления: актриса не должна ограничиваться однотипными ролями. Это равносильно гибели таланта. Надо играть самых разных людей и в каждом плохом, отрицательном герое пытаться найти то, что оправдывает его поступки, а в каждом положительном подмечать отрицательные качества.

Сейчас эти рассуждения выглядят несколько наивными, но тогда я еще училась и пыталась осмыслить мудрые советы.

Немного подумав, решила, что соглашусь играть обе роли и докажу, что мне по силам любые характеры. Может тогда все поймут, что новую фамилию я взяла не зря?

Но все равно мне больше нравилась «правильная» Маша Прозорова (Кулыгина), чем наглая Наталья.

В общем, я была счастлива, играть ее трагическую любовь к Вершинину так романтично... Кстати, в этой роли бли-

стала сама Ольга Леонардовна Книппер. Если уж она взяла роль, значит, Антон Павлович считал Машу главной героиней пьесы. Мне казалось, что это так, ведь Ирина Тузенбаха хоть и уважает, но не любит, Ольга не любит вообще никого, а о Наталье и говорит не стоит. А у Маши трагичная любовь к Вершинину, тут есть что играть, тут раздолье.

С Натальей куда проще, она понятна, как гривенник, – прибрала к рукам все, до чего только дотянулась.

У меня было отличное настроение, несмотря на болезнь близких мне людей. После всяких эпидемий тифа и холеры простуда казалась легкой шалостью, даже если она с высокой температурой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.